

Николсон Бейкер

Бельэтаж

Бейкер Н.

Бельэтаж / Н. Бейкер —

Этот роман начинается, когда главный герой встает на ступеньку офисного эскалатора, возвращаясь с обеденного перерыва на работу, и заканчивается, когда он сходит с него, поднявшись в бельэтаж своего конторского здания. За короткую поездку мы вместе с ним решаем грандиозные вопросы, на которых покоится вся наша Вселенная: почему шнурки на ботинках изнашиваются с разной скоростью? кто придумал носик на картонных пакетах молока? как следует надевать носки по утрам? почему соломинки всплывают в кока-коле? какие удовольствия ожидают нас от пробивания степлером толстой пачки бумаг? и многое другое. Интеллектуальный бестселлер провокационного американского романиста Николсона Бейкера «Бельэтаж» – впервые на русском языке. Свежий взгляд на сноски к человеческой культуре.

Содержание

МИРОВАЯ ПРЕССА И КОЛЛЕГИ АВТОРА О РОМАНЕ	5
Глава первая	7
Глава вторая	11
Глава третья	16
Глава четвертая	20
Глава пятая	26
Глава шестая	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Николсон Бейкер

Бельэтаж

Посвящается Маргарет

МИРОВАЯ ПРЕССА И КОЛЛЕГИ АВТОРА О РОМАНЕ

Серьезно смешная книга. Маленькие вещи – ишурки, соломинки, беруши – после нее никогда не будут казаться престижными.

Салман Рушди

Книги Бейкера – это как обрезки ногтей.

Стивен Кинг

Неотразимый роман Бейкера – подлинная свалка жизни современного офисного работника... С непередаваемым остроумием и точностью герой в деталях и с отступлениями изучает те мелочи жизни, которые ведут к возникновению новых идей или помогают решить проблему. Элегантно манипулируя временем, рассказчик препарировывает культурный слой тщательно и смешно. Одни сноски чего стоят...

Publishers Weekly

В «Бельэтаже» Николсон Бейкер воссоздает один день в жизни конторского служащего... вернее обеденный перерыв в жизни разума конторского служащего... Очень смешная книга – поистине одиссея примечаний.

Library Journal

Амбиции, выраженные в «Бельэтаже», так же грандиозны, как мелки навязчивые идеи. Из этого несоответствия проистекает рафинированный и увлекательный монолог, весь пронизанный замечательными шутками. Кроме того, книга полезна, поскольку в ней обсуждаются бумажные полотенца и способы надевания носков. Ее полюбил бы Энди Уорхол – он скупил бы весь тираж, просто для смеху. Всем остальным следует ограничиться одним экземпляром.

Independent

Блистательная гиперстильная комедия Николсона Бейкера современных манер возвещает появление истинного оригинала. Роман его – триумф интеллектуального шока. Шока от увиденного свежим взглядом.

Sunday Times

Бейкер – не просто умник, а умница, один из лучших, как убедится всякий, кто окажет себе услугу и прочтет этот роман. Великолепное начало.

The Face

Мистер Бейкер высвечивает невидимое в нашем мире с бритвенно-острой пронизательностью и курьезным чувством юмора.
New York Times Book Review

Николсон Бейкер (р. 1957) – современный американский романист, чьи непривычные на первый взгляд романы повествуют о вещах причудливых и странных и подрывают сами основы традиционных методов построения сюжета. Бейкер – правнук известного журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Рэя Стэннарда Бейкера (1870-1946), закончил Истмэнское музыкальное училище и колледж Хэверфорд по специальности «английская литература». Он – автор шести романов и нескольких публицистических книг, постоянно печатается в ведущих американских литературных журналах. В 2001 году Николсон Бейкер получил премию Национального круга литературных критиков. Живет с женой и двумя детьми на юге штата Мэн.

Николсон Бейкер яростно выступает против отказа библиотек от хранения информации на бумажных носителях, перехода на микрофильмы, уничтожения картотек и отправки старых книг и газет на свалки, считая, что библиотекари лгут обществу о критичности проблемы хранения бумаги и просто одержимы модными технологиями. В 1997 году в ознаменование этих попыток сохранить историческое наследие человечества ему была присуждена премия Джеймса Мэдисона «Свобода информации».

Веб-сайт поклонников творчества Николсона Бейкера: <http://j-walk.com/nbaker/index.htm>

Глава первая

Без нескольких минут час я вошел в вестибюль здания, где работал, и направился к эскалаторам, неся черный «пингвиновский» томик в мягкой обложке и белый пакет из универсальной аптеки «Си-ви-эс», запечатанный чеком на скрепке. Эскалаторы поднимались в бельэтаж, где располагался мой кабинет. Были они из породы открытых; пара знаков интеграла изгибалась и соединяла два этажа, которые обслуживала, без стоек или контрфорсов, испытывающих промежуточную нагрузку. В солнечные дни вроде сегодняшнего временный, более крутой эскалатор дневного света, образованный пересечениями возвышающихся стекляннo-мраморных объемов вестибюля, сходилcя с настоящими эскалаторами чуть выше их середины, вытягивался в сияющую иглу, которая падала на боковые панели из лоснящейся стали и дополняла длинным глянцеvитым бликом каждый черный резиновый поручень. Когда поручни скользили по направляющим, блик слегка подрагивал – как те черные блестящие сектора, что катаются кругами по волнистому краю виниловых пластинок ¹.

Приближаясь к эскалатору, я машинально переложил книгу и пакет из «Си-ви-эс» в левую руку, чтобы по привычке взяться за поручень правой. Пакет бумажно зашуршал, я взглянул на него и в первую секунду не мог вспомнить, что внутри, – мысль цеплялась за чек, скреплявший верх. Вот для чего нужны эти пакетики прежде всего, думал я: они оберегают от посторонних глаз покупки и в то же время оповещают мир, что вы ведете насыщенную, хлопотливую жизнь, полную неотложных дел. В сегодняшний обеденный перерыв я зашел в ресторанчик сети «Папа Джино», где бываю редко, за полупинтой молока, запить печенье, которое неожиданно для себя купил в прогорающей франшизе, соблазнившись возможностью посидеть пару минут на площади перед офисом, жуя лакомство, которое уже перерос, и читая книжку, я платил за картонный пакет молока, когда девушка (табличка сообщала, что ее зовут «Донна») замешкалась, чувствуя, что упускает некий элемент сделки, и спросила:

– Вам соломинка нужна?

В свою очередь я помедлил с ответом: а нужна ли? Интерес к соломинкам, кроме как для молочных коктейлей, я утратил несколько лет назад, кажется, в тот самый год, когда все крупные поставщики переключились с бумажного товара на пластмассовый, и мы вступили в эру неудобных плавучих соломинок ²; впрочем, мне все еще нравились пластмассовые соломинки

¹ Люблю я это постоянство бликов на краях движущихся предметов. Даже монотонно вращающиеся серые пропеллеры и настольные вентиляторы поблескивают строго в определенных местах; каждая изогнутая лопасть вентилятора, движущаяся по кругу, на миг ловит свет, прежде чем передать его приемнице. – *Здесь и далее прим. автора, кроме отмеченных особо.*

² Я глазам не поверил, когда впервые увидел, как соломинка всплыла в моей банке с содовой и зависла над столом, чудом зацепившись за металлические зазубрины снизу по краю отверстия в банке. В одной руке я держал свернутый клин пиццы, захватив его тремя пальцами, чтобы угол не свисал, а сырно-жирная начинка не стекала на бумажную тарелку, в другой руке тем же способом – книгу в мягкой обложке, и что же мне было делать? Мне всегда казалось: соломинки нужны для того, чтобы хлебнуть колы, не откладывая ломоть пиццы и одновременно продолжая читать. Подобно многим, скоро я обнаружил, что существует способ утолять жажду, пользуясь новыми плавучими соломинками без помощи рук: надо нависать над самым столом, придерживать губами кончик почти горизонтальной соломинки, топить ее в банке всякий раз, когда захочешь сделать глоток, и в то же время напрягать зрение, чтобы не потерять нужную строчку на странице. Как могли инженеры по соломинкам допустить такую элементарную ошибку – сконструировать соломинку весом легче сахарной водицы, в которой этой соломинке полагается стоять торчком? Бред! Но потом, как следует поразмыслив, я пришел к такому выводу: действительно, инженеры виноваты в том, что не предвидели плавучесть соломинки, однако задача эта не так проста, как мне поначалу представлялось. Насколько я помню, в тот исторический период, год 1970-й или около того, пластмасса, которой заменили бумагу, на самом деле превосходила тяжестью колу – расчеты были абсолютно верны, первые выпущенные партии выглядели прилично, и хотя соотношение плотностей воды и пластмассы едва выполнялось, изделие пустило в производство. Забыли учесть только одно: что пузырьки углекислоты будут цепляться за невидимые неровности на поверхности соломинки, а вихревые потоки у конца соломинки, погружаемой в напиток, сами создают подобные пузырьки; таким образом, облепленная пузырьками и без того не слишком тяжелая соломинка всплывает, пока не достигает подповерхностной зоны напитка, где нет пузырьков, обеспечивающих дальнейшее всплытие. Прежние бумажные соломинки со спиральным швом были более шероховатыми, чем пластмассовые, на них налипало больше пузырьков, зато они были пористыми: немного колы попадало в поры, служило балластом

с коленцем, гофрированные шейки которых гнулись так, что их слегка заедало – в точности как суставы пальцев, если на некоторое время задержать их в одном положении³.

Поэтому когда Донна спросила, нужна ли мне соломинка в дополнение к полупинте молока, я улыбнулся ей и ответил:

– Нет, спасибо. Лучше дайте маленький пакет.

– Ох, извините, – спохватилась она и торопливо полезла за пакетом под прилавок, трогательно раздумываясь и явно чувствуя себя растяпой. В магазине она работала недавно – это было сразу видно по тому, как она расправляла пакет: самым медленным способом, трижды подергав внутри пальцами-щупальцами. Я поблагодарил ее, вышел и задумался: и зачем я только потребовал пакет для одной-единственной полупинты молока? Не из некой абстрактной тяги к приличиям, желания скрыть сущность моей покупки от глаз общественности – хотя и этот мотив зачастую бывает чрезвычайно весомым, и в нем нет ничего смешного. Хозяйева и хозяйки лавчонок знают в этом толк и инстинктивно прячут любой купленный предмет – коробку рожков, кварту молока, упаковку попкорна «Джиффи Поп», буханку хлеба – в пакет: они считают, что если жевать на улице неприлично, то и видеть еду следует только в помещениях. Но даже когда просишь что-нибудь вроде сигарет или мороженого, явно созданных для амбулаторного употребления, в таких лавках неизменно спрашивают: «В маленький пакет?», «В пакетик?», «Положить в пакет?» Очевидно, укладывание в пакет знаменует момент, когда право собственности на мороженое переходит к покупателю. В старших классах я часто сбивал с толку таких хозяев, которые машинально тянулись за пакетом для моей квартиры молока – поднимал руку и услужливо предупреждал: «Нет, спасибо, пакет мне не нужен». И уходил, невозмутимо унося в руке молоко, словно толстый справочник, в который приходится заглядывать так часто, что он мне уже надоел.

Почему я умышленно пренебрегал условностями, если любил пакеты с раннего детства, когда научился расправлять большие и плотные, из супермаркетов, – ровно разглаживать складки, а потом похлопывать по свернутой середине каждой боковой стенки пакета, пока он не начинал корчиться сам собой, как раненый, и наконец опять становился плоским? В то время я оправдал бы свое презрение разглагольствованиями о никчемных расходах, свалках мусора и т.п. Но истинная причина заключалась в другом: в те годы я стал регулярно покупать журналы с цветными снимками голых женщин, причем по большей части не в мелких семей-

и предотвращало всплытие. Ладно, была допущена оплошность, но почему ее не исправили? Почему не произвели расчеты заново – для более толстых пластмассовых соломинок? Ясно же, что самые крупные покупатели, производители фаст-фуда, согласились бы терпеть в своих заведениях плавучие соломинки от силы полгода. Наверняка целые отделы были брошены на выбивание концессий у «Сунтхарта» и «Маркала». Однако хозяйева закусовых в то же время сами приспособились к изменившейся ситуации: принялись надевать предохранительные крышечки на каждый стаканчик с напитком, продаваемый на вынос или для употребления в зале; благодаря этим крышечкам напитки стали реже проливать, в середине каждой имелась маленькая крестообразная прорезь – причина раздражения в эпоху бумажных соломинок, поскольку прорезь зачастую бывала такой узкой, что бумажные соломинки сминались при попытке пропихнуть их сквозь крышку. Перед ответственными за соломинки в корпорациях быстрого питания встал выбор: а) либо делать прорези шире, чтобы бумажные соломинки не мялись, б) либо начисто отказаться от бумажных соломинок, делать прорези еще уже, чтобы 1) полностью устранить вероятность всплытия и 2) уменьшить зазоры между соломинкой и краями прорези настолько, чтобы содовая почти не выливалась, не пачкала сиденья в машинах и одежду и не вызывала раздражения. Вариант б) оказался идеальным – даже если не принимать во внимание соблазнительную цену, предложенную производителями соломинок, которые заменили оборудование для скручивания бумажных заготовок в спираль скоростными машинами для штамповки пластмассы, – на нем и остановились, не задумываясь, что это решение будет иметь серьезные последствия для всех ресторанов и особенно пиццерий, где продают содовую в банках. Вдруг выяснилось, что продавцы бумажного товара предлагают мелким закусовым только плавучие пластмассовые соломинки, и никакие другие, оправдываясь тем, что их подают во всех крупных сетях ресторанов быстрого питания, а мелкие заведения не провели независимых испытаний на банках содовой вместо стаканов с крышками и крестообразными прорезями в них. Так качество жизни само по себе снизилось на одну восьмую деления – пока в прошлом году, кажется, я в один прекрасный день не заметил, что пластмассовая соломинка из некоего тонкого полимера с цветной полоской стоит стоймя на дне моей банки!

³ В детстве я много думал об этом эффекте суставов пальцев и пришел к выводу: когда потихоньку преодолеваешь эти временные препятствия, ты, по сути дела, выравниваешь «стенки клеток», из которых состоит сустав, меняя то, что, с точки зрения своей неподвижности, казалось окончательной, стабильной географией данного микроскопического региона.

ных лавочках, а в новых, безликих универсамах района, то в одном, то в другом. А в этих универсамах парни за прилавком порой жестоко, но с наигранной наивностью высмеивали ритуал «в пакет?», интересуясь: «Пакет для этого нужен?», и заставляли меня либо подтвердить нужду кивком, либо гордо отказаться, свернуть журнал с голыми красотками в трубочку и уложить его в велосипедную корзинку так, чтобы виднелась только предательская реклама сигарет на задней обложке – «Карлтон» – ниже некуда»⁴.

Вот потому-то я в то время часто отвергал пакеты для кварты молока в мелких частных лавочках, а на выходе являл всякому, кто захочет проследить за мной, что мне скрывать нечего; так я время от времени делал самые заурядные, безобидные семейные покупки. А на этот раз я попросил пакет для полупинты молока у Донны, чтобы наконец-то прояснить ситуацию для хозяев и хозяек, с радостью подчиниться условностям и даже просветить других, покамест несведущих клиентов «Папы Джино».

Но есть более примитивная и менее антропологическая причина, по которой я попросил пакет именно у Донны – причина, которую в ходе дальнейшего анализа на тротуаре я не выявил, но обнаружил позднее, шагая к эскалатору, ведущему в бельэтаж, и поглядывая на запечатанный пакетик из «Си-ви-эс», только что переложенный из одной руки в другую. Оказывается, мне всегда нравилось при ходьбе иметь свободную руку, даже если нести приходилось несколько предметов: нравилось дружески похлопывать ладонью по макушке зеленого почтового ящика «только для почтальонов», легонько мутузить кулаком стальные столбы светофоров – потому, что это по-настоящему здорово – касаться холодных пыльных поверхностей пружинистыми мышцами ребра ладони, и еще потому, что приятно, когда окружающие видят меня – парня в галстуке, но беззаботного и достаточно раскованного, чтобы уподобляться школьнику, который водит палкой по черным столбам чугунной ограды. Особенно мне нравился такой фортель: прошагать мимо счетчика на парковке почти вплотную к нему, чтобы казалось, что сейчас я врежусь в него плечом, но в последнюю секунду вскинуть руку так, чтобы счетчик скользнул у меня под мышкой. Но для всего этого нужна свободная рука, а в «Папу Джино» я заглянул, уже обремененный мягкой «пингвиновской» книжкой, пакетиком из «Си-ви-эс» и пакетом с печеньем. Можно, конечно, прижимать книгу к параллелепипеду полупинты молока с одной стороны, а верх хлипкого пакета с печеньем и пакетик из «Си-ви-эс» – с другой, чтобы одна рука осталась свободной, но тогда пальцы будут неловко растопырены, а стенки клеток – растянуты, пока я не преодолею несколько кварталов до офиса. А если уложить молоко в пакет, решение будет гораздо элегантнее: можно свернуть вместе верх пакета с печеньем, пакетика из «Си-ви-эс» и молочного пакета и держать их согнутыми пальцами, как ребенка за руку на прогулке. (Соломинка, торчащая из пакета с молочной картонкой, помещала бы скрутить пакеты – хорошо, что я ее не взял!) Тогда книгу я поместил бы между скрученными пакетами и ладонью. Так я и сделал. Сначала пакет из «Папы Джино» был жестким, но скоро от ходьбы бумага слегка смягчилась, хотя я так и не довел ее до абсолютно бесшумного состояния и мягкости фланели, как бывает, если протаскаешь с собой пакет целый день, и

⁴ Несколько лет мне и в голову не приходило купить подобный журналец, если за прилавком девушка, но однажды я набрался наглости и попробовал: уставился прямо в ее накрашенные глаза и попросил «Пентхаус», хоть и предпочитал что-нибудь попроще, вроде «Oui» или «Клаба», но свою просьбу я произнес так тихо, что продавщице послышалось «Пауэрхаус», и она жизнерадостно показывала на шоколадный батончик, пока я не повторил название. Потупившись, она выложила издание на прилавок между нами – в те времена на обложку еще допускались обнаженные соски – и посчитала его вместе с упаковочкой «Вулайт», которую я купил для отвода глаз: девушка конфузилась, суетилась и, пожалуй, слегка разволновалась, она сунула журнал в пакет, не спрашивая, «нужен» он мне или нет. В тот же день я раздул ее краткое смущение до размеров полезного этюда, в котором я регулярно, раз в неделю покупал у той же девушки журналы для мужчин, обычно по утрам во вторник, и вскоре от моего сопровождаемого звонком входа в «7-илевен» нас обоих стало бросать в неловкую дрожь, а дома я все чаще находил наспех нацарапанные записочки между страницами в самой середине журнала: «Привет! Кассир», и «Вчера вечером я рассматривала себя в такой же позе перед зеркалом в своей комнате, – Кассир», и «Иногда я смотрю на эти снимки и представляю, как ты их разглядываешь, – Кассир». В таких историях главное затруднение – текучесть кадров: к следующему моему визиту в магазин та девушка уволилась.

к возвращению домой его свернутый верх сомнется в мелкие складки, примет форму пальцев, так что не сразу рискнешь его развернуть.

Только сейчас, у подножия эскалатора, когда я взглянул на собственную левую руку, машинально удерживающую и книгу, и пакет из «Си-ви-эс», наконец закрепилось мое ничтожное озарение пятнадцатиминутной давности. Тогда оно еще не имело статуса знания, к которому предстоит вернуться позднее, и я напрочь забыл бы о нем, если бы вид пакетика из «Си-ви-эс», почти такого же, как пакет с молоком, не спровоцировал виброфлюиды сравнения. При тщательном рассмотрении даже такие несущественные открытия, как это, оказываются более весомыми, чем когда пытаешься представить их позднее. В нынешнем рассказе о событиях, произошедших несколько лет назад во время одного обеденного перерыва, удобнее было бы притвориться, что мысль про пакеты явилась ко мне целиком и сразу у подножия эскалатора, но на самом деле она была лишь последним звеном довольно длинной цепочки полузабытых и бессвязных впечатлений, наконец-то дошедших до точки, когда я впервые обратил на них внимание.

В запечатанном скрепкой пакетике из «Си-ви-эс» лежала пара новых шнурков.

Глава вторая

Мой левый шнурок лопнул как раз перед обедом. А еще раньше утром тот же левый шнурок развязался, и пока я сидел за столом и корпел над служебной запиской, ступня ощутила близость свободы, выскользнула из душной черной кожи и принялась разминаться на ковровом покрытии во весь пол, ритмично притоптывая под столом, где, в отличие от изрядно нахоженных троп, покрытие было почти таким же мягким и пушистым, как сразу после укладки. Только под столами и в конференц-залах, которыми редко пользуются, ворс все еще достаточно пышный, так что прекрасным мисс и вольтам ночной смены достаточно нескольких взмахов волшебными щетками пылесосов для укладки незапыленных ворсинок в разных направлениях, чтобы они то поглощали, то отражали свет. Почти повсеместное в офисах ковровое покрытие существует, пожалуй, на протяжении всей моей жизни, судя по черно-белым фильмам и картинам Хоппера; с тех пор, как ковровые покрытия стали обычным явлением, шагов проходящих мимо людей не слышно; только похлопывание плащей, звон мелочи в карманах, скрип обуви, негромкое, но многозначительное посапывание – сигнал себе и окружающим, что они очень заняты и идут не просто так, а по важному делу, да еще почти различимый на слух свист разносортных и ошеломительных ароматических шлейфов секретарш, деликатное покашливание, высовывание языков и прикладывание к горлу унизанных браслетами рук, которыми особо стильно надушенные секретарши обмениваются при встрече. В каждом офисе найдется один-два сотрудника (в моем – это Дэйв) с характерным ритмом походки, которые по-прежнему умудряются отличаться перестуком шагов, но в большинстве своем на работе мы скользим – заметное улучшение, как известно каждому, кто бывал в тех комнатах офисов, где полы по тем или иным причинам до сих пор застелены линолеумом – в кафетериях, курьерских, компьютерных. Линолеум еще можно было терпеть, когда впечатление сглаживал мягкий свет ламп накаливания, но сочетание флуоресцентных ламп и линолеума, распространенное несколько лет, когда мода на то и другое совпала, глаз не радуется.

Итак, я работал, а моя ступня без каких-либо сознательных санкций с моей стороны выскользнула из расшнуровавшегося ботинка и принялась изучать текстуру коврового покрытия; но сейчас, реконструируя в памяти этот момент, я понимаю, что имело место конкретное желание: когда ступня в носке скользит по ковровому покрытию, ворсинки носка и ковра путаются и сцепляются, и тебя радует не текстура коврового покрытия, а скольжение внутренней поверхности носка по подошве ноги, которое обычно ощущаешь только утром, впервые за день натягивая носок ⁵.

Без нескольких минут двенадцать я прекратил работу, избавился от берушей, а потом, гораздо осторожнее, – от стакана с остатками утреннего кофе: поместил его стоймя между пустыми банками, наклонившимися друг к другу на дне мусорной корзины. Копию служебной записки, которую кто-то снял для меня, я подколол к копии предыдущей записки по тому же вопросу, а сверху самым небрежным своим почерком написал для менеджера: «Эйб, добивать их или плюнуть?» Сколотые бумаги я уложил в лоток «Элдон», не зная, стоит сразу передать их Эйбелардо или нет. Потом надел ботинок: опрокинул его набок, подцепил ступней и,

⁵ Натягивая носок, я уже не скатываю его заранее, то есть не собираю большими пальцами в телескопические складки и не помещаю получившийся пончик аккуратно на пальцы ног, хотя несколько лет я, наученный внушающими восхищение, бодрими воспитателями детского сада, был уверен, что это хитроумный способ и что я выдаю только собственную лень и неумение планировать действия, когда беру носок за резинку и втискиваю в него ступню, вихляя щиколоткой, чтобы пятка попала куда положено. Почему? При более элегантном заблаговременном скатывании на месте, то есть на подошве, остаются все соринки с плохо подметенного пола, прилипшие к ней за то время, пока идешь из душевой к себе в комнату, в то время как при более грубом и прямом методе надевания есть риск порвать старый носок, однако тот же носок смахивает с подошвы сор, поэтому впоследствии, уже торопясь в метро, гораздо реже ощущаешь под сводом стопы перекатывающиеся, раздражающие крупички.

потряхивая, просунул ее внутрь. Все это я проделал на ощупь, а когда скрючился над столом, почти уткнувшись носом в бумаги, чтобы завязать шнурок, то слегка загордился, обнаружив, что могу справиться с ним не глядя. В эту минуту мне помахали убегающие на обед Дэйв, Сью и Стив. Застигнутый в разгар процедуры завязывания шнурка, я не сумел небрежно махнуть в ответ, потому выдал неожиданно сердечное «удачного, ребята!» Они исчезли, а я подтянул левый шнурок, и – рраз! – он лопнул.

Вираз скепсиса и смирения, по которому я прокатился в эту минуту, был из тех, что создаются определенными событиями, сбоями в рутинной деятельности вроде следующих:

а) на верхней ступеньке лестницы думаешь, что впереди еще одна ступенька, и громко топашь ногой по лестничной площадке;

б) дергаешь за красную нитку, чтобы вскрыть упаковку лейкопластыря, нитка отрывается, а упаковка остается целой;

в) вытягивая ленту скотча из рулончика, полуутопленного в черном, увесистом даже не корпусе, а целом «дюзенберге», прислушиваешься к плавно нисходящему шепоту, с которым клейкое покрытие отделяется от оборотной стороны ленты (а шепот понижается, поскольку клейкая полоска, за которую тянут, усиливает звук и одновременно удлиняется ⁶), и вдруг, когда уже хочешь оторвать отмотанный кусок, прижав его к зубчатой металлической пластинке, наружу является внутренний конец ленты, и добытый липкий отрезок неожиданно вырывается на свободу и скручивается. Особенно сейчас, с появлением стикеров, по сравнению с которыми массивные черные футляры для скотча выглядят еще более грандиозными, бидермейеровскими и прискорбно упраздненными, так и кажется, что до конца рулона скотча никогда не доберешься, а когда все-таки добираешься, то на краткий миг испытываешь чувство, близкое к потрясению и скорби;

г) собираешься скрепить степлером толстую пачку бумаг, уже налегаешь на бронтозаврову голову рычага степлера ⁷, предвкушаешь все три этапа этой процедуры:

во-первых, прежде чем степлер коснется бумаги, приходится преодолевать сопротивление пружины, которая держит рычаг поднятым, *во-вторых*, наступает момент, когда маленький самостоятельный агрегат в рычаге степлера упирается в бумагу и пытается проткнуть ее двумя кончиками металлической скобки, и *в-третьих*, слышится почти осязаемый треск, как если разгрызть ледышку, близнецы-острия скобки появляются снизу бумажной стопки и заги-

⁶ В детстве я думал, что название «скотч» – имитация понижающегося треска первых целлофановых лент. Как лампы накаливания в офисах уступили место флуоресцентным, прежде желтовато-прозрачный скотч стал голубовато-прозрачным и потрясающе бесшумным.

⁷ Со сдвигом в десять лет степлеры претерпели коренные внешние изменения, подобно паровозам и звукоснимателям фонографов, на которые они походили. Первые степлеры были чугунными и стоячими, похожими на работающие на угле паровозы и эдисоновские фонографы с восковыми валиками. Но в середине столетия, когда производители локомотивов узнали слово «обтекаемый», а дизайнеры упрятали головку звукоснимателя в аэродинамический ребристый пластиковый кожух, чем-то похожий на поезд, огибающий гору, народ из «Суинглайна» и «Бейтса» потянулся за ними, инстинктивно просек, что степлеры – те же локомотивы, где два острия скобок соприкасаются с парой металлических выемок, и те, как рельсы под колесами поезда, вынуждают скобки следовать по заранее определенному пути, а сходство степлеров со звукоснимателями фонографа – в примерно одинаковых размерах и наличии острия, которые вступают в контакт со средой, хранящей информацию. (Головка звукоснимателя извлекает эту информацию, а степлер объединяет ее в одно целое: заказ, накладная, счет-фактура – к-крак – скреплено, комплект; рекламация, копии оплаченных чеков и счетов, письмо с извинениями – к-крак – скреплено, комплект; история очередной междуособицы филиалов в служебных записках с продолжением и телексах – к-крак – скреплено, законченный эпизод. На старых бумагах, скрепленных степлером, в левом верхнем углу видны прививочные оспины – места, где вынимали и вставляли скрепки, снова вынимали и вставляли, когда документ вместе с дырками от степлера копировали и передавали в другие отделы для дальнейших действий, копирования и скрепления степлером.) А потом началась великая эра угловатости: БАРТ признали идеальным поездом, у проигрывателей «АР» и «Бэнг-и-Олафсен» появились углы – конец кремовым пластмассовым мыльницам! А сотрудники «Бейтса» и «Суинглайна» опять подсуетились, избавили свои агрегаты от всех мягких изгибов и заменили черным цветом бурый с любопытной текстурой. Теперь, конечно, по Франции и Японии разезжают скоростные поезда с аэродинамическими профилями, напоминающими о городах будущего с обложек «Популярной науки» 50-х годов, так что скоро и степлер приобретет сглаженные очертания валиков прически «помпадур». Увы, прогресс в оформлении звукоснимателей замедлился, теперь все покупают компакт-диск-плейеры – дизайн в духе модернизированного советского реализма, который могли оценить немногие, уже никого не вдохновляет.

баются в двух канавках на нижней челюсти степлера, навстречу друг другу, крабьими клешнями охватывают ваши бумаги и наконец полностью отделяются от степлера...

но уже налегая на степлер, согнув локоть и затаив дыхание, обнаруживаешь, что он беззубо шамкает бумагу: кончились скобки. Разве можно было ожидать предательства со стороны такого надежного и полезного предмета? (Но тут же утешаешься: надо заново зарядить степлер, обнажить пустую внутренность рычага и опустить в него длинную цитрообразную шеренгу скобок, а потом, болтая по телефону, играешь с обломком шеренги, которая не влезла в степлер, ломаешь ее на мелкие кусочки, оставляешь их болтаться на клею, как на шарнирах.)

На волне рвано-шнурочного разочарования я в досаде представил Дэйва, Сью и Стива, какими только что видел их, и подумал: «Жизнерадостные болваны!» – скорее всего, шнурок я разорвал в процессе переноса на него социальной энергии, а она понадобилась мне, чтобы выдать компанейское «удачного, ребята!» в неловкой позе вязальщика шнурков. Конечно, рано или поздно он все равно лопнул бы. Эти шнурки прилагались к ботинкам, а ботинки отец купил мне два года назад, когда я нашел эту работу, первую после окончания колледжа, так что потеря шнурка стала своего рода сентиментальной вехой. Я откинулся на спинку стула, чтобы оценить ущерб, представил себе, как исчезли бы улыбки с лиц моих сослуживцев, если бы я и вправду назвал их жизнерадостными болванами, и пожалел, что разозлился на них.

Но первый же взгляд на ботинки напомнил мне то, о чем следовало подумать сразу же, едва лопнул шнурок. Накануне, когда я собирался на работу, *другой* шнурок, правый, тоже порвался, пока я с силой затягивал его при очень похожих обстоятельствах. Пришлось связать правый шнурок узлом, как я сейчас собирался поступить с левым. Меня удивило – и не просто удивило – то, что после почти двухлетней службы правый и левый шнурки не вынесли и двух дней разлуки. Очевидно, процедура завязывания шнурков стала для меня настолько привычной и механической, что сотни дней подряд я способствовал совершенно одинаковому износу обоих шнурков. Почти-одновременность этих событий приятно волновала: благодаря ей переменные частной жизни вдруг стали казаться постижимыми и подчиняющимися определенным законам.

Я поспешил разлохматившийся конец шнурка и осторожно скрутил нити в сырой рыхлый минарет. Ровно и неглубоко дыша носом, я сумел без особого труда продеть заостренный с помощью слюны шнурок в отверстие. А потом засомневался. Чтобы шнурки изнашивались вплоть до разрыва почти в один день, надо было завязывать их одинаковое количество раз. Но когда мимо двери моего кабинета прошествовали Дэйв, Сью и Стив, я как раз завязывал один шнурок – *только один*. А в обычные дни нередко случалось, что один шнурок развязывался совершенно независимо от другого. По утрам, само собой, всегда завязываешь оба шнурка, но, по-моему, эти самопроизвольные развязывания в середине дня просто обязаны привести к полной амортизации обоих лопнувших шнурков – по крайней мере, быть причиной 30% износа. Между тем разве можно утверждать, что эти 30% распределились поровну – левый и правый шнурки самопроизвольно развязывались за последние два года с равной частотой?

Я попытался воскресить в памяти типичный случай завязывания шнурков, чтобы выяснить, не развязывался ли один из них намного чаще другого. И обнаружил, что не сохранил ни единой конкретной энграммы завязывания одного или двух шнурков, датированной позднее моего четырех-пятилетнего возраста, в котором я впервые приобрел соответствующие навыки. Эмпирические данные более чем за двадцать лет пропали навсегда, на их месте остался провал. Но я считаю, это характерно для жизненных моментов, запоминающихся как крупные прорывы: в памяти остается решающее открытие, а не его последующие применения. Так или иначе, три первых важных прорыва моей жизни – а я приведу здесь весь список:

1. завязывание шнурков
2. зашнуровывание обуви крест-накрест

3. умение при завязывании шнурков упираться рукой в теннисную туфлю
4. чистка языка вместе с зубами
5. пользование дезодорантом уже после того, как оделся
6. открытие, что подметать забавно
7. заказ резинового штампа с моим адресом, чтобы усовершенствовать процесс оплаты счетов

8. решение, что клеткам головного мозга положено отмирать –

имеют прямое отношение к завязыванию шнурков, и я не считаю этот факт чем-то из ряда вон выходящим. Шнурки – первые машины для взрослых, управлением которыми нам приходится овладевать. Учиться завязывать шнурки – совсем не то, что наблюдать, как кто-нибудь из взрослых загружает посудомойку, а потом ласковым голосом спрашивает, не хочешь ли ты закрыть дверцу и поставить регулятор (с его неприятным скрежетом) на «мыть». Все это выглядело фальшиво – в отличие от случаев, когда взрослые учили нас завязывать шнурки: для них встать на колени – не шутка. Несколько раз я безуспешно пытался приобрести полезный навык, но только после того, как мама поставила лампу на пол, я отчетливо увидел темные шнурки новых ботинок и научился управляться с ними; мама объяснила, как придавать форму изначальному узлу, который начинался высоко в воздухе в виде непрочной сердцевидной петли, и сжимался, если потянуть вниз за пластмассовые наконечники шнурков и превратить узел в перекрученное ядро длиной три восьмых дюйма; она же показала, как перейти от азов к основной веревочной семядоле, которая, как выяснилось, не настоящий узел, а его иллюзия, фокус со шнурочными тесемками, при котором их части складываются друг с другом и закрепляются временным перекрутом: внешне все это выглядит и функционирует, как узел, но на самом деле представляет собой удивительную взаимозависимую пирамидальную структуру, которая гораздо позднее начала ассоциироваться у меня со строками Поупа:

Нуждается в опоре виноград;
Ты вместе с ближним крепче во сто крат.⁸

Лишь через несколько недель после усвоения базового навыка отец помог мне совершить второй крупный прорыв – когда добросовестно показал мне, как одну за другой затягивать перекладины шнурков, начиная от мыска ботинка и продвигаясь вверх, поддевая каждую букву X указательным пальцем, чтобы вознаграждением, когда доберешься до самого верха, стала неожиданная длина шнурочных хвостов, которые предстоит связать, и в то же время нога туго спеленута и приведена в состояние полной боеготовности.

Третий прорыв я совершил сам посреди детской площадки, когда, запыхавшись, остановился завязать теннисную туфлю⁹, ткнулся губами в занимательно пахнущую коленку, увидел крупным планом муравейники и отпечатки других туфель (у самых лучших, кажется, «Кедз» или «Ред Болл Флайерз», периметр состоял из асимметричных треугольничков, а несколько впадин в центре отпечатывались в виде ровненьких курганчиков пыли) и обнаружил, что завязываю шнурки машинально, не сосредоточиваясь, как раньше, и самое главное – за прошедший год, с тех пор как я освоил азы, у меня вошли в привычку два моих собственных

⁸ Александр Поуп. «Опыт о человеке», пер. В. Микушевича. – *Прим. пер.*

⁹ Узлы на теннисных туфлях заметно отличаются от узлов на ботинках: когда на первых в конце процесса затягиваешь две шнурочные петли, логика завязывания узла становится непостижимой, в то время как на ботинках даже после затягивания узла можно мысленно повторить его путь, словно катаясь на «американских горках». Легко представить, как узел на теннисных туфлях и узел на ботинках стоят бок о бок и дают торжественную клятву: ботиночный узел произносит каждое слово как грамматическую единицу, понимая его не просто как звук, а узел на теннисных туфлях тараторит, не разделяя слов. Огромное преимущество теннисных туфель – впрочем, одно из многих – в том, что если туго зашнуровать их, надев на босу ногу, проносить весь день, хорошенько вспотеть и снять перед сном, сбоку на ступнях останутся красноватые отпечатки опреленных в хром отверстий, похожих на иллюминаторы жюль-верновской подлодки.

приема, которым меня никто не учил. Во-первых, я придерживал большим пальцем предварительно туго натянутый шнурок, во-вторых, на заключительной стадии процесса обеспечивал собственной руке устойчивость, прижимая средний палец к боку туфли. В данном случае прорывом стало осознание того, что я лично усовершенствовал технику в той области, которую никто не считал нуждающейся в усовершенствованиях: я подогнал под себя уже отшлифованную процедуру.

Глава третья

Продолжился этот прогресс, лишь когда мне исполнилось двадцать. Четвертый из восьми прорывов в списке (коротко введу вас в курс дела, прежде чем вернуться к порванным шнуркам) свершился, когда я учился в колледже и узнал, что Л. чистит не только зубы, но и язык. Мне всегда казалось, что процедура чистки зубов применима строго к зубам, ну, еще к деснам, но иногда у меня мелькали сомнения, что приведение в порядок этих органов ротовой полости воздействует на источник противного запаха изо рта, под которым я подразумевал язык. Я взял обыкновение притворяться, будто я кашляю, ковшиком приставлять ладонь к губам и нюхать собственное дыхание; когда результаты проверки меня тревожили, я жевал сельдерей. Но как только я начал встречаться с Л., она, пожимая плечами, словно повторяя избитую истину, сообщила, что чистит язык зубной щеткой каждый день. Поначалу я передернулся с отвращением, но услышанное произвело на меня неизгладимое впечатление. Только спустя три года я тоже начал регулярно чистить язык. К тому времени, как у меня лопнули шнурки, я регулярно чистил уже не только язык, но и нёбо – и не будет преувеличением добавить, что это нововведение кардинально изменило мою жизнь.

Пятым заметным прорывом был открытый мной способ пользоваться дезодорантом по утрам, когда я уже одет, – этот инцидент я подробно опишу позднее, поскольку случился он со мной в первое утро взрослой жизни. (В моем случае взросление не было прорывом, разве что полезной вехой.)

Шестой прорыв состоялся в моей второй после колледжа квартире. Пол в спальне был дощатым. Одна моя коллега (Сью) однажды сказала мне, что у нее хандра, и она охотно отправилась бы домой и навела порядок – мол, это ее излюбленный способ взбодриться. Я еще подумал: как это странно, в духе маньеристов, какое любопытное противоречие с моими инстинктами и привычками – заниматься уборкой умышленно, чтобы изменилось настроение! Спустя несколько недель я вернулся домой днем в воскресенье, после непродолжительного пребывания у Л. Бодр я был необычайно, почитал несколько минут, а потом вскочил, решив убрать в комнате. (Со мной в одном доме жило еще четыре человека, таким образом, в моем личном распоряжении имелась всего одна комната.) Я собрал разбросанные шмотки и выкинул старые газеты, а потом задался вопросом: как поступили бы дальше люди вроде Л., или моей хандрящей коллеги? Они бы подмели пол. В кухонном чулане я нашел практически новую метлу (не современной конструкции, с синтетической щетиной, единообразно подрезанной под углом, а точь-в-точь такую, как в моем детстве, из светлых собранных в пучок прутьев, примотанных к голубой палке ровными витками серебристой проволоки), купленную кем-то из других жильцов. Я взялся за дело, вспоминая всю цепочку вспомогательных открытий детства – например, как я пользовался вместо совка картонными вкладышами от отцовских рубашек, как придерживал метлу под мышкой, чтобы одной рукой замести мусор на рубашечную картонку; и я обнаружил, что процесс обметания ножек стула, колесиков стереосистемы и углов книжного шкафа, очерчивание их изогнутыми мазками метлы, что-то вроде заключения каждой ножки, колесика и дверного косяка в кавычки, помогающее мне свежим взглядом узреть привычные атрибуты комнаты. Телефон зазвонил, как раз когда я сметал в завершающую кучку пыль, мелочь и старые беруши – в тот момент, когда комната находилась на пике чистоты, ибо кучка собранного мусора все еще присутствовала в ней в качестве вещественного доказательства. Звонила Л. Я сообщил ей, что подметаю в комнате, и хотя взялся за это дело уже бодрым, сейчас от прилива сил готов скакать до потолка! Л. ответила, что и она только что подметала у себя в доме. И объяснила, что ее особенно радует заметание сора на совок, когда одну за другой собираешь ровные, как по линейке, серые полоски мельчайшей пыли, доводя ее густоту до незаметности, но не до полного исчезновения, поскольку пыль задерживается у кромки совка.

То, что нам обоим пришло в голову подмести у себя дома днем в воскресенье, после совместно проведенного уик-энда, я счел весомым доказательством, что мы подходим друг другу. С тех пор, читая у Сэмюэла Джонсона о том, как убийственно скучна праздность и какой духовный подъем дает деятельность, я всегда кивал и вспоминал про метлу.

Прорывом номер семь, произошедшим вскоре после воскресного подметания, явился заказ резинового штампа с моим именем и адресом в магазине канцелярских принадлежностей, чтобы мне впредь не приходилось раз за разом писать свой адрес, оплачивая счета. В тот день я отнес кое-что в чистку, а днем раньше отвез несколько стульев, доставшихся Л. в наследство от тетушки, к слепым мастерам в отдаленный пригород, чтобы те починили плетеные сиденья; кроме того, я написал своим деду с бабкой, а также заказал расшифровку стенограммы передачи Макнила-Лерера, в которой некий интервьюируемый высказывал мысли, наглядно иллюстрирующие тот самый образ мышления, с которым я был категорически не согласен, а еще я запросил у «Пингвина», как они предлагали на последних страницах всех книг в мягкой обложке, «полный каталог книг, имеющихся в наличии»; двумя днями ранее я отнес в мастерскую ботинки поставить новые набойки на каблуки – удивительно, каблуки сносились раньше шнурков – и оплатил несколько счетов (что и навело меня на мысль о необходимости штампа с адресом). Выходя из магазина канцелярских принадлежностей, я осознал силу всех этих обособленных, одновременно производимых сделок; во всем городе и в отдельных уголках других штатов ради меня совершались действия, оказывались услуги только потому, что я потребовал их, в некоторых случаях заплатил или согласился заплатить позднее. (Письмо к моим старикам в эту схему не вписывалось, но все равно усиливало ощущение.) Расплавленную резину вскоре должны были вылить на зеркально отображенные металлические буквы, составляющие мое имя и адрес; слепые мастера уже перебирали пальцами, как кларнетисты, заделывая брешь в наполовину сплетенном сиденье стула, проверяя расстояния и степень натянутости; где-то на Среднем Западе, в комнатах, набитых компьютерами «Тандем» и статистическими мультиплексорами «Кодекс», магнитная запись о моих известных долгах заменялась новой магнитной записью, с цифрой, уменьшенной точнехонько на ту сумму, которую я торопливо вписал тонким фломастером в строку на чеке (по традиции я провел длинную волнистую черту после слов «и 00 центов» в строке «сумма» – как делали мои родители, а еще раньше – их родители); химчистка скоро закроется, и где-то в мешке, на темном складе, связанная в узел, чтобы не перепутаться с чужой, под выцветшими плакатами «Как с иголки!», моя грязная одежда проведет всю ночь; я доверил ее химчистке на временное хранение, а мне поверили, что я вернусь и заплачу за то, что мои вещи снова выглядят, как новенькие. Я заставил мир сделать для меня все это и многое другое, а сам тем временем мог фланировать по улице, не обременяя себя нюансами конкретных задач, продолжая жить! Я чувствовал себя поваром-виртуозом, который готовит одновременно восемь или девять различных блюд из яиц, подрумянивает тост, переворачивает сосиски, расставляет тарелки, нажимает кнопку, высвечивая номер официантки. Особенно знаменательным этот прорыв выглядел благодаря резинового штампу: нося мое имя, штамп подводил итог всем этим дистанционным действиям и сам был вторичным, приводящим жизнь в порядок актом, который в данную минуту отнимал время, но зато позволял позднее экономить время *при оплате каждого счета*.

Восьмым, и последним, прорывом, который предшествовал дню лопнувших шнурков, стали четыре причины, согласно которым отмирание клеток головного мозга – это хорошо. Гибелью мозговых клеток я был в той или иной степени озабочен с десятилетнего возраста, год за годом убеждался, что глупею, а когда начал попивать, учась в колледже, и узнал, что унция дистиллята убивает тысячу нейронов (кажется, соотношение было именно таким), беспокойство усилилось. Однажды в выходной я признался матери по телефону: меня тревожит, что с недавних пор, особенно в последние полгода, мои умственные способности заметно сни-

зились. Она всегда интересовалась материалистическими аналогиями познания и сумела меня утешить, на что я и рассчитывал.

– Правильно, – сказала она, – отдельные клетки твоего мозга отмирают, но уцелевшие приобретают все больше связей, а эти связи с годами только разрастаются, о чем не следует забывать. Важно количество связей между нервными клетками, а не самих клеток.

Это замечание оказалось исключительно полезным. За пару недель после известия о том, что связи продолжают плодиться даже в разгар нейроновой бойни, у меня сложилось несколько взаимосвязанных теорий:

а) Вероятно, в самом начале у нас в мозгу царит толкучка и преобладает способность к чистой обработке информации; следовательно, смерть клеток мозга – часть запланированного и неизбежного отсеивания, предшествующего переходу на более высокие уровни разума: слабые клетки быстро выдыхаются, а пустоты, остающиеся на их месте после реабсорбции, стимулируют рост зачатков дендритов, которым достается более просторное игровое поле, в результате возникают сложные взаимодействующие структуры. (А может, обостренная потребность самих дендритов в пространстве для роста провоцирует борьбу за выживание: они сцепляются рогами с более слабыми отростками в поисках богатых информацией связей, пересекают напрямик соседние территории и вызывают их увядание и угасание, словно пригородов вдоль новых автострад). Когда общее количество клеток сокращается, а количество связей каждой клетки возрастает, качество знаний претерпевает метаморфозу; начинаешь чувствовать ситуацию, разделяешь людей на типы, связываешь воспоминания прошлого, и в отличие от предыдущих лет теперь вся жизнь превращается в нечто, неизбежно состоящее из миллиона взаимно проросших друг в друга мелких фиаско и успехов, и перестает походить на нить ярких бусин – обособленных моментов. Математикам необходимы все эти лишние нейроны, без них стопорится карьера, но мы, остальные, должны быть благодарны за исчезновение клеток – оно высвобождает место для опыта. В зависимости от сферы, в которой начинал, по мере взросления мозга смещаешься к более богатому и сложному полюсу: математики становятся философами, философы – историками, историки – биографами, биографы – ректорами колледжей, ректоры колледжей – консультантами по политике, а политические консультанты баллотировались на какой-нибудь пост.

б) Осмотрительное применение веществ, вредных для ткани нейронов – таких, как алкоголь, – способствует развитию интеллекта: разрушая хромированные, смешливые, ориентированные на решение кроссвордов части мозга болью и ядом, вынуждаешь нейроны самостоятельно заботиться о себе и окружающих, сопротивляться усиливающемуся воздействию искусственных растворителей. После ночных возлияний мозг просыпается поутру со словами: «Нет, мне насрать, кто завез в Северную Америку бататы». Нанесенный ущерб исчезает, под шрамами сохраняются необычные участки коры – достаточно шероховатые, чтобы выполнять роль узлов, вокруг которых плетет сети мудрость.

в) Нейроны, срок службы которых истекает, отвечают за имитацию. Когда ты способен имитировать навыки, перед тобой открываются безграничные возможности, но когда мозг теряет резервные способности, а вместе с ними и живость, и окрыленность, и стремление делать то, что ему не по плечу, тогда наконец приходится довольствоваться тем немногим, что по-настоящему хорошо удается мозгу – остальное уже не беспокоит и не отвлекает, поскольку оно раз и навсегда оказалось вне досягаемости. Ощущение того, что ты поглупел, – вот что пробуждает интерес к действительно сложным жизненным вопросам: к переменам, к впечатлениям, к тому, как окружающие приспособляются к разочарованиям и ограничению возможностей. И ты сознаешь, что никакое ты не чудо природы, расправляешь плечи, начинаешь осматриваться и замечаешь краски, которые уже не затмевает лазурное сияние алгебры и абстракций.

г) Отдельные мысли теряют связность вместе с нервными путями, по которым путешествуют. По мере того как эти мысли исчезают и снова появляются, терпят урон, забываются и приобретают новые оттенки, они становятся более утонченными, стройными, дополняются структурой полустершихся деталей. Распадаясь или оставаясь ущербными, они возрождаются скорее как часть самих себя и в меньшей степени – как элемент внешней системы.

Таковы были восемь главных прорывов, которые я смог совершить за свою жизнь – вплоть до того момента, когда занялся починкой уже второго за последние два дня порванного шнура.

Глава четвертая

Когда я покончил с временным узлом, комком с двумя разлохмаченными хвостами прямо под верхней парой отверстий, я подтянул язычок ботинка – еще одна маленькая прелюдия к зашнуровыванию, которой я научился у отца, – и осторожно принялся за основной узел. Особое внимание я уделил размерам петельки, похожей на кроличье ухо, сложенной из укоротившегося шнура: следовало оставить достаточный запас длины, чтобы затянуть узел, не нарушив его форму¹⁰. Я с интересом наблюдал за беглой, машинальной возней собственных рук: это были руки зрелого человека, с выпуклыми венами и довольно густой порослью на тыльной стороне, но свои движения они заучили так давно и накрепко, что сохранили элементы гораздо более давнего, хвостато-жаберного «я». Впервые за некоторое время я обратил внимание на свои ботинки. Они уже не выглядели новыми: я по-прежнему считал их новыми, поскольку в них приступил к работе, но теперь увидел, что на мысках образовались две глубоких складки, сходящиеся под острым углом, похожие на линию сердца и линию ума на ладони. Эти складки неизменно возникали на моих ботинках и всегда имели одну и ту же форму – об этом загадочном обстоятельстве я часто размышлял в детстве, пытался ускорить образование парных складок, сгибая новые ботинки руками, и все ломал голову: если ботинок уже начинает сам собой сгибаться в неожиданном месте из-за какого-нибудь дефекта кожи, почему морщинка никогда не становится глубже там, где появилась впервые, а заменяется классическими буквами V, положенными на бок?

Я встал, задвинул стул на место и шагнул к двери кабинета, где мой пиджак обычно целый день висел без дела, за исключением случаев, когда слишком уж свирепствовали кондиционеры или мне предстояла презентация; но только я осознал, как собираюсь поступить, сразу испытал укол досады при одной только мысли, что мои шнурки износились единственно от того, что я ежедневно их завязывал. А как же все эти мелкие подергивания и натяжения шнура при ходьбе, воздействие на него со стороны ботинка? Каблуки же стоптались от носки, на мысках образовались складки – и с какой стати списывать со счетов ходьбу как причину амортизации шнурков? Мне вспомнились кадры из фильмов, когда веревка, удерживающая подвесной мост, от качки моста трется об острый камень. Даже если волокна шнурков при каждом шаге сдвигаются в дырках всего на миллиметр, от постоянного движения туда-сюда в конце концов перетрутся наружные волокна, однако шнурок не лопнет, пока его не потянут как следует – как дернул я, когда завязывал.

Правильно! Вот так-то гораздо лучше! Эта теория сгибания при ходьбе (как я окрестил ее в отличие от предыдущей теории истирания при натяжении) прекрасно объясняет совпадение вчерашнего и сегодняшнего разрывов, решил я. Хромал и передвигался вприпрыжку я крайне редко, не рассиживался в барах торговых центров, закинув ногу на ногу, не сгибал одну ногу, забывая о другой, – словом, не делал ничего такого, что могло бы привести к непропорциональному износу шнурков. Да, год назад я поскользнулся на обледенелом пандусе для инвалидов колясок, на следующий день вышел из дома с костылем и еще неделю после этого берег левую ногу, но пятидневной хромотой можно пренебречь, и кстати сказать, вряд ли в ту неделю я носил эти ботинки, новые и самые лучшие – у меня не было ни малейшего желания украшать их мыски отложениями солей.

И все-таки, размышлял я, если шнурки и вправду перетерлись от деформации ботинок при ходьбе, почему же оба рвались при контакте только с одной, верхней парой отверстий

¹⁰ Неприятно, когда в итоге остается только одно из двух кроличьих ушей, образующих привычный бантик; ибо если по какой-то причине конец шнура, из которого было сложено одно ухо, вырвется на свободу, обратного пути уже не будет: получится «бабий», или рифовый, узел, а его придется распутывать ногтями, багровея от прилива крови к голове.

на каждом ботинке? Я медлил в дверях, оглядывал кабинет, держась за вогнутую металлическую дверную ручку ¹¹, и сопротивлялся очередной нежелательной загадке. Никогда не слышал, чтобы шнурки перетиралась где-нибудь в области средних дырок. Вероятно, основная нагрузка при ходьбе приходится на сгибы шнурков в верхних дырках – как и нагрузка при затягивании узла. Понятно, хотя страшновато представить, что коэффициенты по теориям износа при натягивании и истирания при ходьбе сочетаются таким изощренным образом, что равномерное распределение нагрузки никоим образом не зависит от вмешательства человека.

Я зашел в закуток Тины у наружной стены офиса, на которой висела доска объявлений, и переставил зеленую кругляшку-магнит со слова «на месте» на слово «вышел», продолжив линию, выстроенную магнитами Дэйва, Сью и Стива. Там, где было оставлено место для объяснения причин отсутствия, я светящимся зеленым маркером вписал «обед».

– А плакат для Рэя ты подписал? – спросила Тина, оборачиваясь на стуле. Пышная шевелюра эффектно обрамляла ее умненькое личико; вероятно, в тот момент Тина была начеку, поскольку два других секретаря нашего отдела, Диэнн и Джули, ушли обедать и оставили на попечение Тины свои телефоны. В самом интимном уголке своего рабочего места, в тени полки под невключенной флуоресцентной лампой, она прикрепила снимки мужа в полосатой

¹¹ Вообще-то слишком современную, чтобы называться просто дверной ручкой. Почему бы не ставить в офисах дверные ручки, по форме действительно похожие на ручки? Что за статический модернизм навязывают нам архитекторы среднего класса – стальные половники букв U и обточенные конструкции в форме куполов вместо ручек медных, фарфоровых и стеклянных? В доме, где я вырос, дверные ручки в верхних комнатах были из граненого стекла. Стоило приблизить к такой ручке пальцы, чтобы открыть дверь, как в стекле расплывалось облако телесного цвета, двигаясь навстречу. Ручки свободно проворачивались в механизме замков, но сами были увесистыми, и сочетание добротности и податливости создавало целый калейдоскоп впечатлений, когда ручку поворачивали: в этой плавности были заключены промежуточные положения тумблера. Мало каким американским изделиям присуще то же шарнирно-ортопедическое свойство (качество соломинок, которые можно сгибать) переключателей и рукояток; зато японцы прекрасно создают его: включатели поворотников автомобилей или регуляторы громкости стереоприемников получаются у них солидными, неподатливыми и *приработанными к месту* – вспомните хотя бы тоненькие лучинки поворотников «тойоты» слева от руля, которые двигаются в пазах, словно курьи ножки; на ощупь кажется, будто их приводит в движение специально сконструированный живой локтевой хрящ. Такое свойство имели и наши домашние дверные ручки выпуска 1905 года. Мой отец питал к ним особую привязанность, поскольку вешал на них галстуки. Зачастую дверь приходилось открывать с опаской, едва касаясь ручки, чтобы не смять эти галстуки, нанизанные на нее гроздью. Во всех верхних комнатах было что-то от личных покоев набоба; когда закрывалась дверь спальни, ванной или стенного шкафа, тяжелый шлейф поражающих пестротой шелков бесшумно вздувался и опадал; временами один из галстуков стекал на пол, постепенно выведенный из равновесия многочисленными поворотами дверной ручки. Когда я подростом настолько, что сам начал носить галстуки, отец неизменно радовался просьбам одолжить какой-нибудь: он совершал обход дверных ручек, бережно снимал с них отобранные кандидатуры и развешивал их на согнутой руке, как сомелье – салфетку. – Вот красавец... Этот – сама изысканность... А как тебе вот этот? – Отец преподал мне азы классификации: репсовый галстук, парадный галстук, галстук в «огурцах». И на собеседование в бельэтаж я отправился в галстук, снятом отцом с дверной ручки: шелковым, чуть ли не креповом, в мелких овалах, и замысловатые клыски в каждом напоминали голодных пульсирующих амеб, поглощающих избыток желудочной кислоты в навязчивой рекламе «Ролэйдса»; если присмотреться, оказывалось, что контур каждого овала составляют кричаще-яркие прямоугольнички, похожие на дома вдоль улиц пригорода, но эти бордюры были настолько узки, что своей яркостью только придавали глубину и сияние рисунку – строгому, в темных тонах, как на картинах старых мастеров. Отец ухитрялся где-то выискывать уникальные галстуки вроде этого, хотя плохо различал оттенки зеленого; в те дни, когда ему предстояло обхаживать крупных клиентов, по утрам он являлся на кухню с тремя галстуками и спрашивал маму и нас с сестрой, какой лучше всего сочетается с рубашкой – это была своего рода генеральная репетиция дневного собрания, на котором отец тоже предлагал выбрать одно из трех, будь то варианты программы рекламной кампании на восемнадцати страницах или планы коммерческой презентации с показом слайдов. В первый год работы, собираясь на ужин с отцом и родными, я надел лучший галстук, купленный для свиданий, и пока дядя договаривался насчет столика, отец повернулся ко мне, зацепился взглядом за галстук и оценил: – Так-так, симпатичный. – Пощупал шелк и добавил: – Из моих или сам купил? – Да прикупил уже не помню когда, – отозвался я, притворившись, что напрягаю память, хотя она прекрасно сохранила подробности этой сделки – всего пять недель назад я без усилий нес домой почти невесомый, но безумно дорогой пакет. – Парадный галстук, парадный. – Отец спустил с носа очки и наклонился, чтобы разглядеть рисунок – ряды парных, преимущественно красных ромбов, пересекающихся, как диаграммы Венна. – Очень изысканно. – Кажется, этого я еще не видел, – указал в свою очередь я на отцовский галстук. – Хорош! – Этот? – Отец повертел галстук, как будто тоже припоминал обстоятельства его покупки. – Прихватил в «Уиллок Бразерс». Когда все мы сели за стол, я рассмотрел галстуки родственников-мужчин – деда, дяди и отца моей тетки – и убедился, что сегодня вечером наши с отцом галстуки вне конкуренции. Во мне вдруг воздушным шариком раздулись гордость и благодарность. Однажды навестив родителей, я обменялся галстуками с отцом, а в следующий День благодарения заметил, что мой галстук висит на дверной ручке вместе с остальными, купленными им самим, – и вписывается, отлично вписывается!

рубашке, племянников и племянниц, Барбары Стрейзанд и увеличенную ксерокопию набранного готическим шрифтом изречения, которое гласило: «Не можешь выломиться – врубайся!» Хотел бы я когда-нибудь отследить продвижение по городским офисам этих лозунгов для обслуживающего персонала; в кабинке Диэнн висел на стене еще один, с заглавными буквами, уже осыпавшимися от бесчисленных копирований. Он звучал так: «ХОТИТЕ, ЧТОБЫ Я ПОСПЕШИЛ СО СПЕШНОЙ РАБОТОЙ, КОТОРУЮ И БЕЗ ТОГО ДЕЛАЮ НАСПЕХ?»

– А что со стариной Рэем? – спросил я. В обязанности Рэя входило опорожнение мусорных корзин в каждом кабинете и закутке и пополнение запасов расходных материалов в туалетах, а полы пылесосили приходящие уборщицы. Сорокапятилетний Рэй гордился своим потомством, носил клетчатые рубашки и неизменно ассоциировался у меня со сверхурочной работой: далекий хруст бумаги и шуршание пластика слышались все ближе, Рэй заходил во все кабинеты подряд, опрокидывая содержимое каждой корзины в серый треугольный контейнер и тем самым подчеркивал, что рабочий день кончился – даже для тех, кто засиделся на работе, поскольку любой мусор, который они еще успеют бросить в корзину, будет уже *завтрашним мусором*. Прежде чем вставить в корзину новый пластиковый пакет, Рэй запиховал в него скомканный старый пакет, чтобы забрать его завтра, и таким образом экономил на каждой остановке несколько движений; ловким жестом он завязывал использованный пакет узлом, чтобы его уже никто не вставил в корзину, и пакет сам превращался в мусор, как только поверх него кидали что-нибудь объемное, например газету.

– В прошлые выходные двигал бассейн и потянул спину, – объяснила Тина.

Я поморщился, демонстрируя офисную разновидность сочувствия.

– Надеюсь, бассейн был переносной?

– Детский, для внучатой племянницы. Несколько дней его не будет.

– Так вот почему уже несколько дней, когда я выбрасываю стаканчики из-под кофе, они шлепаются на упругий пластиковый пузырь. Заместитель Рэя не знает, как выпустить из пакета воздух. Вообще-то получается даже любопытно – этакий эффект подушки.

– Да уж, любопытный эффект, воображаю, – машинально принялась кокетничать Тина. Она указала на плакат, разложенный на столе заболевшего младшего референта.

– Где расписаться?

– Где хочешь. Вот тебе ручка.

Я уже почти вытащил из кармана рубашки свою, но не хотел отказываться от предложения Тины и потому медлил; в это время Тина увидела, что ручка у меня есть, и с возгласом «а-а» отдернула протянутую было руку; между тем я решил взять ручку у нее и сунул свою обратно в карман, слишком поздно осознав, что предложение уже не в силе; Тина, заметив, что я тянусь за ее ручкой, остановила движение отдергивающейся руки, но я уже осмыслил ее предыдущий поступок и снова принялся вытаскивать собственную ручку из кармана – эта череда зеркальных жестов напоминала безмолвные танцевальные па, какими обмениваешься со встречным пешеходом, который, как и ты, никак не может решить, справа тебя обойти или слева. В конце концов я взял ручку Тины и рассмотрел самодельный плакат; на нем фломастерами была нарисована ваза, а в ней – пять больших цветков с лепестками-петлями. На вазе четким, наклонным почерком отличницы значилось: «Рэй, мы скучаем и желаем тебе скорейшего возвращения! Твои коллеги». А на лепестках цветов – аккуратные, почти неразличимые подписи многочисленных секретарей из бельэтажа; все росписи были наклонены под разными углами. С ними перемешались более разнообразные подписи нескольких менеджеров и младших референтов. Я восхищенно ахнул; это и *вправду* было красиво.

– Вазу рисовала Джули, а цветы – я, – пояснила Тина.

Я выбрал скромный лепесток четвертого цветка – не слишком бросающийся в глаза, поскольку мне казалось, что в последнее время я вел себя с Рэем слишком холодно (цикличность офисной дружбы неизбежна), и теперь я хотел, чтобы первым делом он увидел под-

писи людей, в сочувствии которых абсолютно уверен. Уже подготовившись расписаться, я, к счастью, заметил, что крупная, сжатая по горизонтали, конкистадорская подпись моего босса Эйбелардо, изобилующая завитками и дерзкими росчерками, находится на том же цветке, который выбрал я, только лепестком выше. В близости моей подписи чувствовалось бы что-то неправильное – ее могли воспринять, как признак особых уз (моя подпись оказалась бы ближе подписей Дэйва, Сью и Стива, которые тоже подчинялись Эйбелардо), или как намек на то, что я специально держусь поближе к привилегированным коллегам и подальше от секретарей. На своем веку я подписал достаточно офисных открыток, провожая сослуживцев на пенсию, поздравляя с днем рождения и желая всего наилучшего, чтобы у меня развилась болезненная чувствительность к нюансам размещения росписей. Разыскав лепесток-антипод поближе к имени Диэнн, я подписался под углом, который счел оригинальным.

– Тина, от такого плаката Рэй зальется слезами счастья, – заявил я.

– Ой, спасибо!.. На обед?

– Схожу куплю шнурки. Один лопнул вчера, а второй – только что. Странное совпадение, правда? Понятия не имею, чем его объяснить.

Тина на миг задумалась, а затем показала на меня пальцем.

– Знаешь, интересно, что ты вдруг заговорил об этом – дело в том, что у нас дома два детектора дыма, так? Оба установили год назад. На прошлой неделе у одного разрядилась батарейка, и он включился – «пи-ип!.. пи-ип!.. пи-ип!» Пришлось Рассу идти за новой. А на следующий день утром я ухожу, стою у двери с ключами в руках, и вдруг снова слышу – «пи-ип!.. пи-ип!» Второй сработал. Батарейки разрядились одна за другой.

– Очень странно.

– Вот-вот. Тем более что один детектор срабатывал чаще – он находится ближе к кухне и реагирует, когда у меня что-нибудь подгорает. Жарю курицу, и вдруг «пи-ип!.. пи-ип!» – включился! Но второй, насколько мне помнится, сработал всего один раз.

– То есть от частоты включений срок службы батарейки не зависит.

– Вот именно, не зависит... Минутку, – у нее зазвонил телефон; извиняясь, она вскинула руку, а потом неожиданно нежным, уверенным, металлически-звучным голосом произнесла с легким придыханием:

– Доброе утро ¹², офис Доналда Ванчи. К сожалению, Дона сейчас нет на месте. Можно узнать ваш номер, чтобы он перезвонил вам позднее?

Проворно выхватив у меня ручку, Тина записала фамилию в блокнот «Пока вас не было». А затем, повторяя вслух артикулы и количество товаров, начала принимать длинное и запутанное сообщение. Мне не терпелось уйти, но это выглядело бы слишком бесперомонно. Благодаря плакату для Рэя и жареной курице наша беседа только что перешла из категории офисной любезности в общечеловеческую сферу и должна была закончиться в диалоговом режиме: этикет предписывал мне дожидаться, когда закончится телефонный разговор, и обменяться последними фразами – если бы вскоре не выяснилось, что сообщение придется принимать дольше трех минут подряд, но в этом случае Тина, знаток условностей, отпустила бы меня, понимая, на что намекает моя возня подтекстом «так-так, пора поторавливаться» (подтягивание брюк, заглядывание в бумажник, шутливый салют), и беззвучно выговорила бы: «Пока!»

В ожидании я проверил, нет ли на вращающейся подставке сообщений для меня, хотя пробыл на месте все утро и ничьи звонки не пропускал, затем, шагнув в кабинку Тины, взял со стола ее увесистый хромированный штемпель с датой. Это была модель с автоматической

¹² К тому времени настольные часы Тины уже показывали 12.04. Не перестаю умиляться, когда после утренней кутерьмы звонков секретари продолжают приветствовать собеседников с добрым утром и в час дня, и позже – точно так же люди и в феврале продолжают ставить на бумагах предыдущий год. Иногда они замечают ошибку и пытаются объяснить ее привычным способом – «сегодня все у меня не ладится» или «о чем я только думал?», но в каком-то смысле они правы: по-настоящему дневное настроение воцаряется в офисе не раньше двух часов пополудни.

подачей чернил; в состоянии покоя внутренний элемент, проставляющий дату и опоясанный шестью резиновыми ремешками, прятал текущую нумерологию, перевернутую вверх ногами, под влажным черным сводом корпуса. Чтобы воспользоваться этим аппаратом, его квадратное основание водружали на лист бумаги, который предстояло проштемпелевать, и нажимали деревянную (настоящую!) ручку. Тогда внутренний элемент, выведенный S-образными направляющими из похужей на порталный кран надстройки, с достоинством начинал спуск одновременно с поворотом, и перемещался в рабочее положение как раз к посадке, словно модуль лунохода, на миг касался бумаги, оставлял на ней сегодняшнюю дату и пружинисто возвращался в позу отдыха летучей мышцы. Утром, приходя в офис пораньше, я иногда наблюдал (через стеклянную стену своего кабинета), как Тина меняет на штемпеле дату: доев свой пончик без глазури, стряхнув крошки с пальцев в ту же пленку, в которую он был упакован, завернув крошки в пленку так, что получался аккуратный беловатый комочек, и выбросив этот комочек, Тина отпирала свой стол, вынимала степлер, блокнот «Пока вас не было» (этим вещам свойственно бесследно пропадать, если их не держат под замком) и штемпель из среднего ящика, в котором царил идеальный порядок, и попутно клала лишние пакетики сахарозаменителя, поданные в кофейне, в особое отделение ящика, где не было ничего, кроме пакетиков с сахарозаменителем. Затем Тина сдвигала резиновый поясok штемпера на единственную цифру – ритуальное действие, с которого начинался ее рабочий день, как и мое переворачивание страницы перекидного календаря по двум металлическим дугам, продетым в отверстия листочков размером с почтовую открытку (я всегда менял дату накануне вечером, перед самым уходом, чтобы с утра не портить себе настроение вчерашними разочарованиями и списком неотложных дел), все это превращалось в прощание с минувшим, после которого жизнь вновь устремлялась вперед.

И вот теперь я трогал ремешки штемпера с выпуклыми резиновыми цифрами, смену которых производили железные шестеренки; ремешки, соответствующие числам месяца, были сплошь черными, но поясok, соответствующий декаде, все еще оставался красным – кроме цифры 8, липкой от чернил. Я подставил ладонь и оттиснул на ней дату.

– Давайте я повторю вам цифры, – говорила Тина. В этом ожидании, когда она договорит, и я смогу отправиться на обед, был один любопытный момент. Несмотря на то, что нас прервали на середине разговора, которым я так увлекся, что до сих пор не ушел, мне было ясно: чем дольше я здесь стою, тем меньше вероятность, что мы возобновим разговор с того, на чем остановились, – и не потому, что потеряли нить, а потому, что обсуждали не заслуживающие внимания предметы, и никто из нас не желал, чтобы нас заподозрили в чрезмерном внимании к таковым. Мы стремились придать этим предметам статус случайных наблюдений, сделанных в жизни наряду с сотней других, не менее интересных, о которых можно с легкостью упомянуть друг другу.

И действительно, когда Тина наконец повесила трубку, мгновенно перешла с «телефонного голоса» на обычный и почувствовала, что я жду продолжения, то спросила:

– Что там на улице?

Она обернулась, глядя на квадрат голубого неба и два туго натянутых, подрагивающих приводных ремня люльки мойщика стекол, которую видно в окно начальника Тины ¹³.

– О-о, погодка что надо! – продолжала Тина. – А у меня куча дел, хорошо бы Джули вернулась вовремя. Надо купить подарок дочке на день рождения, открытку ко Дню матери...

– Ах, да – он уже не за горами.

¹³ На самом деле небо было вовсе не голубое, а зеленое; отражающая поверхность стекла искажала цвета, и от этой перемены в сочетании с посвистом вентиляции под каждым окном небо казалось бесконечно далеким, а о температуре на улице было трудно судить. Я давно заметил: упоминать в разговоре о мойщиках стекол не принято, даже если они проплывают за окном, пока вы беседуете с коллегой; считается, что это зрелище настолько всем примелькалось, что не заслуживает ни шуток, ни замечания.

– Точно, и поискать для собаки противоблошинный ошейник, а еще... Что-то же было еще...

– Батарейку для второго детектора дыма.

– Верно!.. Нет, Расс купил запасные. Умница, правда?

– Молодчина, – согласился я и постучал пальцем по виску, как только что делала Тина. – Скажи-ка мне вот что: где продаются шнурки?

– Может, в «Си-ви-эс»? Кажется, ремонт обуви есть еще возле «Деликейто»... нет, он закрылся. Но по-моему, в «Си-ви-эс» точно должны быть.

– Ну ладно. – Я поставил штемпель точно на прежнее место. – Пока!

– А ты расписался?

Я ответил утвердительно. Тина погрозила мне пальчиком:

– За тобой нужен глаз да глаз! Удачного обеда ¹⁴!

И я отошел – в направлении мужского туалета и обеденного перерыва.

¹⁴ Есть два идеальных способа закруглить бессодержательную беседу с коллегой: первый – отпустить не слишком очевидную шуточку, второй – обменяться полезной информацией. Первый более распространен, но второй предпочтительнее. Разговор с Тиной стал самым длинным за тот день (точнее, был – до тех пор, пока в девять вечера не позвонила Л. – правда, с ней мы не просто поболтали, но как ни странно, я удовлетворил свою будничную потребность в общении), и я порадовался, что в завершение Тина сообщила мне, что шнурки можно купить в «Си-ви-эс». У нас обоих возникло ощущение, что в жизни мы сделали еще один шаг вперед: бегая по своим делам, Тина узнавала то, о чем явно не подозревали другие, а теперь поделилась этими знаниями со мной.

Глава пятая

Это неправильно – говорить «в детстве я любил что-то», если любишь это что-то до сих пор. Признаюсь, кататься на эскалаторах мне нравится отчасти благодаря детским воспоминаниям. Многие помнят, как в детские годы обожали ездить на машинах, поездах, лодках или самолетах, и я тоже был не прочь на них прокатиться, но гораздо больше меня интересовали средства транспортировки на небольшие расстояния: системы подачи багажа в аэропорту (те самые соединенные внахлест полумесяцы твердой резины, которые легко изгибаются на поворотах и бережно несут груз со спрессованной одеждой в нем, и бахрома из полос резины на границе между манящим внутренним миром багажного отделения и наружным миром машин с низкой посадкой и персонала в синих комбинезонах); ленты транспортеров у касс в супермаркете, приводимые в движение ножной педалью, как швейные машины, и с похожим на застежку-молнию швом, который то выезжает на поверхность, то исчезает из виду; конвейеры в супермаркетах, состоящие из рядов вертикальных вращающихся цилиндров, выстроенных U-образным изгибом, по которому пронумерованные контейнеры из серой пластмассы, куда сложены упакованные в пакеты и оплаченные вами покупки, выезжают через откидные дверцы наружу; показанные нам на экскурсии автоматические линии разлива молока, торопливо везущие шеренги пустых бутылок по изогнутым направляющим с резиновыми боковыми роликами прямо к автомату, который впрыскивает в бутылки молоко и запечатывает их бумажными колпачками; горки для стеклянных шариков; олимпийские трассы для состязаний по тобогану и бобслею; системы движущихся вешалок в химчистке – волнообразное круговращение шуршащих пластиковых пакетов (НЕ ИГРУШКА! НЕ ИГРУШКА! НЕ ИГРУШКА!) со смутно различимой внутри одеждой, уносимой от прилавка для клиентов к гладильным машинам в глубине зала, обдуваемой ветром на поворотах возле стариков за дряхлыми швейными машинами, разбирающих груды трусов с приколотыми ярлычками; автоматы в прачечных, размещающие одежду на свободных местах для сушки и убирающие ее, когда она высохнет; выставка-продажа кур-гриль в «Вулворте» – оранжево-румяные тушки на вращающихся вертелах; подставки-карусели для демонстрации часов «Таймекс», на которых каждая коробочка с часами вскрыта, словно раковина; цилиндрические жаровни, где хот-доги медленно поворачиваются в направлении, противоположном вращению валиков, и лопаются от жара; передачи, промасленное нутро которых (так объяснял отец) преобразует и направляет силы. У эскалатора имелось нечто общее со всеми перечисленными механизмами, с единственной разницей: только на эскалатор я мог встать и поехать.

Вот и мое удовольствие от катания на эскалаторе в тот день в некоторой степени было вызвано смутными воспоминаниями и ассоциациями – и не только о мире механических увлечений отца (и моем собственном), но и воспоминаниями о том, как мама водила нас с сестрой в универмаги и учила осторожно вставать на эскалатор. Она запретила мне совать комочек розовой жвачки с отпечатками зубов в зазор между изогнутым бортом и ребристой ступенькой под ним, а я пытался, потому что хотел увидеть, как резинку сплющит сокрушительная сила гигантской надежной машины – так мусоровозы спрессовывают картонные коробки. Когда мы шагнули на эскалатор, мама подхватила сестру, и, прижимая к боку локтем шуршащий пакет с покупками, поставила ее на ступеньку повыше. Держаться за резиновый поручень мне было бы неудобно, и меня, как и следовало ожидать, на верхнюю ступеньку не пустили. Приближаясь к следующему этажу, я увидел зеленое свечение в похожей на амбразуру щели, где исчезали ступеньки; а когда я сошел с эскалатора сначала на странно-неподвижный линолеум, потом – в тундру ковролина, до меня донеслись негромкие звуки из отдела, о котором я ничего не знал, отдела «Упущенные мелочи»: клацанье плечиков с металлическими крючками и пластмассовыми кожухами, нагруженных не глухими мужскими костюмами из шерсти, а легким трико-

тажем, сбившимся тесными девчоночьими кружками под картонной табличкой «Распродажа» – и мелодичные сигналы «упущенного» телефона, подающего по четыре звонка, по одному в секунду.

И все-таки, хотя сейчас мои мысли об эскалаторах на 70, а то и на 80% составлены из детских воспоминаний, в последнее время я испытывал все больше неловкости, упоминая о катании на эскалаторах в списке любимых занятий, а всего пару недель назад, через несколько лет после одной памятной поездки, у меня появилось твердое мнение по этому вопросу. Я мчался на юг по средней полосе широкой трассы, было без четверти восемь утра, начинался солнечно-голубой бесснежный зимний день, я спешил на работу, которую нашел после того, как уволился из бельэтажа ¹⁵. Я опустил козырек над ветровым стеклом, чтобы защититься от прямых солнечных лучей слева, и даже усовершенствовал козырек (симпатичный элерон с креплением только на одном уголке, противоположном от зеркала заднего вида), засунув под него папку с документами, так что небо прямо передо мной наливалось совершенной, чистейшей лазурью, а щуриться от солнца не приходилось. Легковушки и грузовики держались на приличном расстоянии: достаточно близко, чтобы создавать ощущение братства и общей цели, но не настолько близко, чтобы помешать рывком вывернуть на соседнюю полосу в любой момент, когда заблагорассудится. За похожую на позвонек сердцевину руля я держался левой рукой, в правой был пенопластовый стаканчик с кофе, закрытый специальной крышкой-непроливайкой.

Я пристроился в хвосте у зеленого грузовика, который катился со скоростью на пять миль в час меньше моей. Строго говоря, это был «мусоровоз», но не городская машина, которые сразу вспоминаются при этом слове (с опущенной задней частью, похожей на сеточку для волос ресторанного работника). Зеленый грузовик был побольше размерами, из тех, что возят спрессованный мусор с центрального перерабатывающего завода на свалку – громадный прямоугольный контейнер, передняя стенка которого служила задней стенкой кабине. То, что мусор уже спрессован, я понял, потому что увидел, как он торчит из узкой щели под задней панелью кузова: он не имел плотности обычного, рыхлого, только что собранного мусора. Сверху кузов был накрыт донельзя грязной зеленой плотной парусиной, закрепленной эластичными тросами, под углом протянувшимися вниз по бокам кузова.

Первое, что мне понравилось: углы наклона тросов и переход от этих прямых линий к тугим фестончатым изгибам парусины. Затем я перевел взгляд на металлическую поверхность кузова между тросами: органические контуры ржавчины были покрашены зеленой краской, но активная ржавчина продолжала разрастаться под новым покрытием, поэтому пятно представляло собой сочетание свежей краски и скрытого под ней металла, изъеденного коррозией. В целом это было по-настоящему красиво, в чем я убедился, объезжая мусоровоз по соседней полосе. И когда передо мной вместо зеленого кузова вдруг появилось голубое небо, я вспомнил, как в детстве меня живо заинтересовал один факт: любой хлам, каким бы грубым, ржавым и грязным он ни был, живописно выглядит, если разложить его на белой ткани или на любом другом чистом фоне. Эта мысль явилась ко мне с единственным вступлением «когда я был маленьким», наряду с видением ржавого железнодорожного костыля, который я где-то нашел и положил на собственноручно подметенный бетонный пол в гараже. (Гаражная пыль при подметании забивается в неровности бетона, в итоге поверхность выходит совершенно гладкой.) Этот фокус с чистым фоном, с которым я столкнулся лет в восемь, сбрасывал не только с принадлежащими мне вещами. Такими, как коллекция окаменевших брахиоподов, которые я сложил в белую коробку от рубашек, но и с музейными экспозициями: хранители

¹⁵ В то время, когда я каждый день поднимался в бельэтаж на эскалаторе, машины у меня еще не было, но позднее, когда она появилась, я понял, что эскалаторное удовольствие немногим отличается от стандартной радости, которую ощущает житель пригорода, завсегда шоссее, когда на ровной скорости ведет свою теплую тихую коробку между пульсирующими пунктирами белой дорожной разметки.

музеев раскладывают жеоды¹⁶, первые американские очки и скребки для обуви на черном или сером бархате потому, что каждый раз, когда видишь обыкновенную вещь в таком оформлении, догадываешься, что на самом деле она достойна внимания.

Однако о детском открытии мне напомнил мусоровоз, который я в *тридцать лет* увидел на фоне голубого неба. В этом простом фокусе было нечто такое, что заинтересовало меня *сегодняшнего* и показалось полезным. Таким образом, ностальгия «когда я был маленьким» вводила в заблуждение: то, что во взрослой жизни я принимал всерьез, она превратила в слезливую сентиментальщину, менее точную и более обманчиво-экзотическую, чем на самом деле. Почему мы оправдываем острой ностальгией любое удовольствие, доставляемое открытиями из детства, если нам уже ясно, что это удовольствие – чисто взрослого свойства? Я решил, что отныне перестану начинать издали, рассказывая о том, что мне нравится сейчас, даже если мои увлечения растут из детства.

И будто в награду за это решение, позднее в тот же день я заглянул в витрину продуктового магазина и увидел упакованный в пленку сэндвич с этикеткой «сливочный сыр и нарезанные оливки». Мысль о похожем на радужку поперечном срезе оливки, который сидит, как глаз какаду, среди сливочно-сырной белизны, вдруг показалась мне наглядным примером принципа, заново открытого тем утром: сами по себе оливки – старые, вымоченные в рассоле, соленые и порыжевшие, но вставьте их в оправу из сливочного сыра – и получится жемчужина¹⁷.

Так что теперь мне необходимо сделать две вещи: эскалатор в бельэтаже разместить на чистом ментальном фоне как нечто замечательное и достойное моих взрослых мыслей и заявить, что радость взрослых поездок на эскалаторе для меня состоит большей частью из детских воспоминаний; и тем не менее я постараюсь не впасть в ностальгический тон, поскольку лишь детям присуща способность изумляться этому прекрасному изобретению.

¹⁶ Жеода (французское *geode*) – форма природного минерального агрегата. Представляет собой замкнутые полости в каких-либо горных породах, выполненные скрытокристаллическими или явно кристаллическими агрегатами минералов. Форма Ж. изометричная, округлая и др. Часто минеральное вещество в Ж. откладывается послойно, образуя концентрически зональные слои (например, агаты). Ж. может быть выполнена минералами не полностью, в этом случае внутри остаётся пустота, обычно усыпанная друзами кристаллов, сталактитовыми натёками и др. В поперечнике могут достигать более 1 метра; минимальная величина – доли сантиметра (т.н. миндалины). – *прим. Marina_Ch.*

¹⁷ Меня особенно заинтересовало слово «нарезанные» в названии сэндвича – вероятно, составленного работниками пищевой промышленности по образцу «сэндвича с нарезанным яйцом». Незачем уточнять «тунец и *нарезанный* сельдерей» или даже просто «тунец и сельдерей»; причина, по которой мы афишируем присутствие оливок, заключается в следующем: если бежевый и крошащийся тунец – объект, то сливочный сыр – определенно фон, оливковые вставки на котором требуют отдельной строки на афише. На самом деле все гораздо проще; по вкусу оливки выделяются на ложе сливочного сыра гораздо заметнее, чем сельдерей – в пряной мешанине тунца; сельдерей зачастую служит лишь недорогим наполнителем, улучшающим текстуру и дающим работу зубам, в то время как унция оливок стоит намного дороже унции сливочного сыра, и, следовательно, свидетельствуют о возвышенных стремлениях и благих намерениях. «Чем бы таким освежить и оттенить эту преснятину?» – задался вопросом ученый-пищевик, получив задание придать примитивному сэндвичу со сливочным сыром аппетитный вид. Грибами? Луком-резанцем? Паприкой? А потом разрезал одну оливку стоимостью не более двух центов на шесть частей, равномерно распределил их по белому фону, и внезапно все подмигивающее, хихикающее, коктейльное лукавство из узкой деликатесной баночки испанских оливок, стоящей на дверце холодильника, переселилось на самый дешевый, бесхитростный, детский сэндвич, какой только можно приготовить.

Глава шестая

Еще пребывая в состоянии временной эйфории от чувства искренности, вынужден признаться, что, несмотря на всю борьбу с сентиментальными искажениями, они все-таки умудряются пролезть, куда не просят. В случае с эскалаторами я, пожалуй, все-таки сдамся без борьбы, поскольку эскалаторы окружают меня и не меняются (за исключением того чудесного периода, когда боковые стенки стали стеклянными) на протяжении всей моей жизни, потому и не теряют очарования. Но другие вещи, такие, как бензоколонки, формочки для льда, междугородные автобусы или пакеты для молока, претерпели сбивающие с толку изменения, и понять масштабы, диапазон и эффект этих изменений, составляющих нигде не задокументированную повседневную канву нашей жизни (с грубой, шероховатой текстурой, как у дорожной обочины, мимо которой обычно мчишься, не успевая присмотреться), можно единственным способом: беречь первые образы этих предметов в той форме, как они запечатлелись в детской памяти, но когда обращаешься к ранним воспоминаниям, приходится мириться со свойственной им склонностью подтягивать струны фрагментарной историографии на скрипках утраченных эмоций. Теперь я пью молоко крайне редко; та полупинтовая картонка, которую я купил у «Папы Джино», чтобы запить печенье, стала одной из самых последних: это был своего рода опыт с целью выяснить, способен ли я до сих пор пить молоко с прежним удовольствием. (По-моему, такую выборочную проверку симпатий и антипатий следует проводить почаще, чтобы узнать, не изменилась ли твоя реакция.) Но картонки молока мне нравятся по-прежнему, и я считаю, что переход с молока, доставляемого под дверь в бутылках, на покупаемое в супермаркете молоко в картонных пакетах с заостренным верхом был важной вехой для людей примерно моего возраста: те, кто помоложе, полностью свыкаются с новизной как отправной точкой и не ощущают потери¹⁸, а те, кто постарше, уже исчерпали свою способность сожалеть о ранних мелких потерях и могут на сей раз лишь пожать плечами. Поскольку я рос по мере того, как создавалась традиция, я до сих пор благоговее перед молочным пакетом, в котором молоко доставляют в супермаркет, – коробкой из вошеного картона с приятной лабораторной надписью «Герметично». Впервые я увидел это изобретение в холодильнике у своего лучшего друга Фреда (не помню, сколько мне тогда было – лет пять или шесть): блестящая мысль разобрать один треугольный свес крыши картонки, отогнуть его закрылки, и, пользуясь жесткостью материала, вскрыть проклеенный шов, даже не прикасаясь непосредственно к нему, чтобы получилось ромбовидное отверстие – идеальный носик, пригодный для наливания *лучше*, чем круглое горлышко бутылки или кувшина, ведь молоко из отверстия можно без труда лить очень тонкой струйкой по направляющему углу, что я оценил, поскольку как раз совершенствовал умение самостоятельно наливать себе молока или готовить мюсли, – так вот, эта блестящая мысль вызвала у меня удовлетворение и зависть. У меня сохранилось одно воспоминание о конкурирующей конструкции картонки, в которой бумажная пробка была вделана в угол плоской верхней коробки, однако торжествующее превосходство остроконечного пакета, в котором

¹⁸ Например, меня ничуть не расстраивает, что врача уже нельзя вызвать на дом; такой визит мне был нанесен лишь однажды, после чего в коревом жару мне мерещилось, как неподвижное пламя свечи на тумбочке у кровати наклонилось надо мной и обожгло небо, подобно горячему питью, но в то время я был так мал (не старше трех лет), что черный саквояж с любопытными полукруглыми щипцами отошел в область мифологии, о чем я нисколько не жалею; по-настоящему история медицины началась для меня в кабинетах врачей, в ожидании уколов. Не оплакиваю я и радикальную реформу библиотечной процедуры проверки, принятой в 60-х годах: вместо того, чтобы поставить дату возврата книг на карточке вместе с остальными датами (при этом ты видел, насколько часто брали эту книгу), помощник библиотекаря брал (1) отпечатанную на машинке каталожную карточку этой книги, (2) твой библиотечный формуляр и (3) перфокарту с заранее напечатанной датой возврата, выкладывал их рядом в большом сером фотокопировальном аппарате и нажимал истертую кнопку; история моих посещений библиотеки начинается с щелчков затвора и вспышек в сером ящике. (Давненько такого не видел; может, уже и путаю его с другим – аппаратом для чтения микрофильмов.)

средства закупорки одновременно служили дозаторами (в отличие, скажем, от металлических носиков, вставленных в боковые стенки упаковок сахара «Домино» или жидкости для мытья посуды «Каскад» – по сути интересных, но никак не связанных с приклеенными клапанами на нижних и верхних гранях коробок), затмило все альтернативы.

Но и к системе доставки на дом, которая продержалась долгие годы даже в эпоху картонных пакетов, я питал сильные, хоть и противоречивые чувства. На ее примере я впервые столкнулся с общественным договором. Молочник открывал нашу парадную дверь и оставлял бутылки с молоком в прихожей, в кредит, заодно забирая пустые вчерашние – обоюдное доверие! Во втором классе нас на автобусе возили на молокозавод и показывали стеклянные бутылки, вмещающие кварту, рядами выплывающие из клубов водяного пара над машиной, которая их мыла с помощью конструкции, похожей на гребное колесо старинного парохода. Несмотря на все мое восхищение картонками, я ощущал превосходство над теми, кто в супермаркете, в молочном отделе, тянулся за продуктами с надписью «Герметично», тем самым признаваясь всему свету, что им не возят молоко домой, следовательно, они не полноценные члены общества, а никчемные бобыли. Но вскоре я заподозрил, что и в королевстве доставки на дом неспокойно. Сначала мы пользовались услугами молокозавода «Онондага»: квартные стеклянные бутылки там закупоривали бумажными крышечками, плиссированные юбки которых цеплялись за стекло, а торговая марка изображала малыша-индейца в головном уборе из перьев, как в вестерне – сомневаюсь даже, что какое-либо из племен северной части штата Нью-Йорк носило такой. Затем начались слияния молочных предприятий. Молоко по-прежнему привозили бесперебойно, однако название компании на фургоне, да и сам фургон менялись. Заказы доставляли два-три раза в неделю. Появились чужие, иностранного вида полугаллонные бутылки – помню только маркировку «Кин Уэй»: молокозавод разливал свою продукцию по бутылкам другого, закрывшегося, а это значило, что *название, отлитое на стекле, уже не соответствовало названию, отпечатанному на крышечке*, – тревожная дисгармония. Потом от стеклянных бутылок окончательно отказались, их заменили сначала белыми, пластмассовыми, с красными ручками, а потом и теми же самыми герметичными картонками, какие можно было купить в супермаркете. По привычке или из уважения к традициям мы продолжали заказывать молоко с доставкой, хотя оно чаще стало скисать, простояв целый день не в холодильнике, а в прихожей, пока родители были на работе, а мы с сестрой – в школе. Хотя поначалу я противился, мама начала покупать герметичные картонки в «А-и-П» или посылала меня за ними в семейные магазинчики, но чтобы поддержать на плаву (как мы надеялись) развозчиков молока в те сумеречные годы, мы откликались на грустные рекламные листовки, оставленные между пакетами, диверсифицируя средства в доставку апельсинового сока, шоколадного молока, творога, пахты. К тому времени названия компаний на фургонах указывать перестали совсем; наш дом был последним на улице, а может, и во всем квартале, куда еще доставляли заказы и служил, несомненно, скорее обузой, чем подмогой: развозчики, которые менялись каждую неделю, жали на газ, едва вернувшись за руль, – своих заказов ждали последние сентиментальные потребители во всех концах города. Наконец последняя уцелевшая после слияния молочная компания в листовке сообщила, что прекращает доставку на дом, и переходный период завершился. Кажется, это случилось в 1971 году. Горевал ли я? Всю грусть вытеснило смущение – оттого, что мы связались с неудачниками, которых можно приравнять к развозчикам льда и угля на лошадях, к чистильщикам от «Фуллера», к соединению с абонентом через оператора, – и это в эпоху Бразилиа, «водяных зубочисток», суставчатых рукавов на колесах, телескопически выдвигающихся из ворот аэропорта и прижимающих пластиковые виниловые присоски к дверям заполненных пассажирами самолетов, и эскалаторов.

Но поскольку все эти постепенные перемены завершились прежде, чем я повзрослел, всякий раз при мысли о них меня так и подмывало уклониться от истории, вдаваясь в недо-стоверные эмоциональные подробности. Маме понадобилось несколько лет, чтобы прекратить

рассеянные попытки оторвать треугольнички на картонке не с той стороны – несмотря на мои внушения, что один отворот приклеивают надежнее, а второй помечают словами «Открывать здесь», вписанными в силуэт стрелы – пренебрегать этим обстоятельством значило не принимать полезное изобретение всерьез. Утром, закончив стричь лужайку или подравнивать кусты, отец готовил холодный кофе и часто оставлял пакет молока на столе, с *открытым носиком*. И здесь мои мысли перескочили, на этот раз сознательно, на великолепный отцовский кофе: несколько ложек растворимого кофе с сахаром, превращенные в смертоносный сироп ровно четвертью дюйма горячей воды из-под крана, в которой растворялись гранулы, а затем – четыре или даже пять кубиков льда, вода – до половины стакана, и молоко – доверху; льда было так много, что, пока кубики таяли, шипели и потрескивали, а вокруг них клубились молочные водовороты, отец не доставал ложкой до дна стакана, чтобы размешать напиток ¹⁹. Он задумал выпустить мокко под названием «Кафе-Оле» в бутылках, и модель такой бутылки с броским логотипом в духе росчерка Зорро, наискосок пересекающим этикетку, стояла у нас на каминной полке еще долго после того, как от проекта отказались. Стоит упомянуть и про дотационные полпинты молока, которые мы покупали в школе за четыре цента, а потом опустошали наперегонки, одним леденящим мозг засосом через бумажную соломинку – эти мистические четыре цента ассоциируются и с высоким стаканом молока на плакате с изображением четырех групп продуктов, и с правилом, согласно которому ежедневно следует выпивать по четыре стакана молока. Этому правилу я ревностно следовал, в случае необходимости заплатавая все четыре стакана в один присест перед сном.

¹⁹ Ванночка для ледяных кубиков заслуживает исторической справки. Поначалу это были алюминиевые посудины, с вставляющейся внутрь решеткой из планок и рычагом, похожим на рукоятку тормоза – неудачное решение: чтобы лед отстал от металла, приходилось держать решетку под теплой водой. Помню, я видел, как пользовались такими ванночками, но сам к ним не прикасался. А потом вдруг появились пластмассовые и резиновые лотки, по сути дела формочки разного дизайна – для очень мелких кубиков, для больших кубов, для ледышек с закругленным верхом. Некоторые тонкости стали понятны лишь со временем: например, небольшие вырезы в перегородках, отделяющих одну ячейку от другой, позволяли воде переливаться, выравнивая уровень; это значило, что всю ванночку можно быстро наполнить, проведя ею под краном, будто играя на губной гармонике, или же пустить воду тоненькой, как ниточка, струйкой, и держать ванночку под углом, чтобы из единственной наполняемой ячейки вода растекалась по соседним, и постепенно захватила весь лоток. Межклеточные перегородки были полезны и после застывания воды: когда ванночку сгибали, чтобы извлечь кубики, можно было вынимать их по одному, поддевая ногтем край ледышки над вырезом в перегородке. Если же подцепить ледяную культю не удавалось, поскольку уровень воды в ячейке был ниже выреза в перегородке, можно было высвободить все кубики, кроме одного, а потом перевернуть ванночку – и последний кубик вываливался сам. Еще можно было изогнуть пластмассовый лоток так, чтобы отделить от перегородок все кубики, а потом, словно лоток – раскаленная сковорода для блинчиков, подбросить их. Кубики дружно подпрыгивали над своими ячейками примерно на четверть дюйма, большинство плюхалось на место, но самые легкие взлетали выше, приземлялись беспорядочно, зачастую удобной неровной гранью вверх – они и попадали в стакан первыми.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.